



ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ  
«БОЛЬШАЯ КНИГА»

АЛЕКСЕЙ  
ВАРЛАМОВ  
МЫСЛЕННЫЙ

# ВОЛК



РЕДАКЦИЯ  
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ



Большая проза

Алексей Варламов

**Мысленный волк**

«Издательство АСТ»

2014

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Варламов А. Н.**

Мысленный волк / А. Н. Варламов — «Издательство АСТ»,  
2014 — (Большая проза)

ISBN 978-5-17-117673-0

Алексей Варламов — прозаик, филолог, ректор Литературного института имени А.М. Горького. Автор романов «Душа моя Павел», «Лох», повести «Рождение», биографий Михаила Пришвина, Александра Грина, Алексея Толстого, Григория Распутина, Михаила Булгакова, Андрея Платонова, Василия Шукшина. Лауреат премии «БОЛЬШАЯ КНИГА», премии Александра Солженицына и Патриаршей литературной премии. Роман «Мысленный волк» Алексей Варламов считает «личной попыткой высказаться о Серебряном веке». Писатель выбрал один из самых острых моментов в российской истории — «бездны на краю» — с лета 1914-го по зиму 1918 года. В нем живут и умирают герои, в которых угадываются известные личности: Григорий Распутин, Василий Розанов, Михаил Пришвин, скандальный иеромонах-расстрига Илиодор и сектант Щетинкин; мешаются события реальные и вымышленные. Персонажи романа любят — очень по-русски, роковой страстью, — спорят и философствуют о природе русского человека, вседозволенности, Ницше, будущем страны и о... мысленном волке — страшном прелестном звере, который вторгся в Россию и стал причиной ее бед... Роман вошел в шорт-лист премии «БОЛЬШАЯ КНИГА».

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-117673-0

© Варламов А. Н., 2014

© Издательство АСТ, 2014

# Содержание

Часть I	7
1	7
2	11
3	15
4	19
5	25
Конец ознакомительного фрагмента.	29

# **Алексей Варламов**

## **Мысленный волк**

© Варламов А.Н.

© ООО «Издательство АСТ»

## Часть I Охотник

### 1

Больше всего на свете Уля любила ночное небо и сильный в нем ветер. В ветренном черном пространстве она во сне бежала, легко отталкиваясь ногами от травы, без усталости и не сбивая дыхания, но не потому, что в те минуты росла – она невысокая была и телосложением хрупкая, – а потому что умела бежать, – что-то происходило с тонким девичьим телом, отчего оно отрывалось от земли, и Уля физически этот полубег-полуполет ощущала и переход к нему кожей запоминала, когда из яви в сон не проваливалась, но разгонялась, взмывала, и воздух несколько мгновений держал ее, как вода. А бежала она до тех пор, пока сон не истончался и ее не охватывал ужас, что она споткнется, упадет и никогда больше бежать не сможет. Тайный страх обезножить истязал девочку, врываясь в ее ночные сны, и оставлял лишь летом, когда Уля уезжала в деревню Высокие Горбунки на реке Шеломи и ходила по тамошним лесным и полевым дорогам, сгорая до черноты и сжигая в жарком воздухе томившие ее дары и кошмары. А больше ничего не боялась – ни темноты, ни молний, ни таинственных ночных всполохов, ни больших жуков, ни бесшумных птиц, ни ос, ни змей, ни мышей, ни резких лесных звуков, похожих на взрыв лопнувшей тетивы. Горожанка, она была равнодушна к укусам комаров и мошки, никогда не простужалась, в какой бы холодной речной воде ни купалась и сколько бы ни мокла под августовскими дождями. Холмистая местность с островами лесов среди болот – гривами, как их тут называли, – с лесными озерами, ручьями и заливными лугами одновременно успокаивала и будоражила ее, и, если бы от Ули зависело, она бы здесь жила и жила, никогда не возвращаясь в сырой, расчлененный короткой широкой рекой и изрезанный узкими кривыми каналами Петербург с его грязными домами, извозчиками, конками, лавками и испарениями человеческих тел. Но отец ее, Василий Христофорович Комиссаров, выезжал в Высокие Горбунки только летом, ибо остальное время работал механиком на Обуховском заводе и в деревне так скучал по машинам, что почти все время занимался починкой нехитрых крестьянских механизмов. Денег с хозяев за работу он не брал, зато на завтрак всегда кушал свежие яйца, молоко, масло, сметану и овощи, отчего болезненное, землистое лицо его молодело, лоснилось, становилось румяным и еще более толстым, крепкие зубы очищались от желтого налета, а азиатские глазки сужались и довольно смотрели из-под набрякших век. На горбунковских мужиков этот хитрый опухший взгляд действовал столь загадочным образом, что они по одному приходили к механику советоваться насчет земли и хуторов, но об этом Василий Христофорович сказать не умел, однако мужикам все равно казалось, что петербургский барин что-то знает, но утаивает, и гадали, чем бы его к себе расположить и неизвестное им выведать.

Иногда, к неудовольствию молодой жены, Комиссаров ходил на охоту вместе с Павлом Матвеевичем Легкобытовым, надменным нервным господином, похожим чернявой всклокоченностью не то на цыгана, не то на еврея. Легкобытов по первой профессии был агрономом, но на этой ниве ничего не взрастил, если не считать небольшой книги про разведение чеснока, и заделался сначала журналистом, а потом маленьким писателем, жил в деревне круглый год, арендуя охотничьи угодья у местного помещика князя Люпы – загадочного старика, которого никогда не видел, потому что у Люпы была аллергия на дневной свет и на людские лица, за исключением одного – своего управляющего. Про них двоих говорили дурное, но Легкобытов в эти слухи не вникал, он был человек душевно и телесно здоровый, с удовольствием охотился в прозрачных сосновых и темных еловых лесах, натаскивал собак, писал рассказы и в город

ездил только за тем, чтобы пристраивать по редакциям рукописи да получать гонорары по двадцать копеек за строчку. Журналы его сочинения охотно брали, критика их то лениво бранила, то снисходительно хвалила, а механик Комиссаров любил своего товарища слушать и был у Павла Матвеевича первым читателем и почитателем. Однажды он даже привез сочинителю из Германии в подарок велосипед, на котором Легкобытов лихо разъезжал по местным дорогам, вызывая зависть мальчишек и ярость деревенских собак. На первых он не обращал внимания, а от вторых отбивался отработанным приемом: когда пес намеревался схватить его за штанину, велосипедист резко тормозил, и животное получало удар каблуком в нижнюю челюсть. Но столь жестоко Павел Матвеевич относился только к чужим псам, в своих же охотничьих собаках души не чаял, ценил их за ум, выносливость и вязкость и дивные давал имена – Ярик, Карай, Флейта, Соловей, Пальма, Нерль, а у иных было и по два имени: одно для охоты, другое для дома. Однажды купил гончую по имени Гончар и переименовал в Анчара. Он был вообще человек поэтический, хоть и казался грубым и резким.

После стычек с невоспитанными сельскими псинами штаны у Легкобытова оказывались порванными и их зашивала красивая, дородная и строгая крестьянка Пелагея, которая всюду за Павлом Матвеевичем следовала. Помимо охотничьих собак у них было трое детей: младшие – общие, такие же цыганистые и плотные, как их отец, а старший – белесый, худощавый, синеглазый, с длинными девичьими ресницами и пухлыми губами, – Алеша, был Пелагеиным сыном от другого человека. Павел Матвеевич пасынка не слишком жаловал, и не потому, что Алеша был ему по крови чужой, а потому, что относился к детям равнодушно и занимался в жизни только тем, что ему нравилось. А что не нравилось – отметал и в голове не держал.

Уля же с Алешей часто играла и очень его жалела. Оттого что сама она росла с мачехой, ей все время казалось, будто бы Алешу обижают в семье и даже занятая хозяйством мать относится хуже, чем к младшим сыновьям. Уля с детства таскала для своего товарища из дома лакомства и, перенимая крестьянскую печаль, во все глаза смотрела, как Алеша уплетает гостинцы, хотя впрок печенья и конфеты ему не шли и кости все равно выпирали из загорелого мальчишеского тела, а нежное лицо оставалось всегда трагически готовым к обиде. Однажды Уля накопила денег и купила ему нарядную рубашку, но Алеша смутился, потому что надеть обновку ему было некуда, а как объяснить матери, откуда рубашка взялась, он не знал.

– Не нравится? – истолковала по-своему его смущение Уля.

– Велика, – не соврал он, потому что с размером Уля и в самом деле ошиблась, и спрятал рубашку в овине подальше от чужих глаз, но зоркая Пелагея ее нашла.

Она выслушала Алешины спутанные объяснения, однако ругать сына не стала, а как-то странно хмыкнула, и обыкновенно сухие, прищуренные глаза ее помутнели и сузились, не давая выходу той судорожной материнской любви, которую Пелагея в себе носила, но о которой ни Павел Матвеевич, ни Уля не догадывались. Павел Матвеевич по самонадеянности, а Уля если во что уверовала, то переубедить ее не было никакой возможности. И Алеша с нею не спорил, а делал все, как она велела, – качался до головокружения на гигантских шагах, устроенных механиком, плавал на лодке-плоскодонке, учил свою подружку ловить рыбу и раков, которых они варили на костре, и, тараща глаза – ему спать хотелось, потому что утром вставать ни свет ни заря, – слушал Улины сказки про трехглазых людей, которым третий глаз дан для того, чтобы не видеть обыденного и прозревать сокровенное, и Уля верила, что у нее этот глаз есть, но еще пока не открылся.

– А чтобы глаз открылся, – говорила Уля Алеше чужим голосом, – надо делать особенные упражнения. Хочешь, научу?

– Хочу, – отвечал Алеша, и Уля чувствовала, как по ее позвоночнику от шеи до пояса пробегает легкий озноб.

Она невзначай касалась Алеши и тотчас отдергивала руку:

– А ты отчего в школу не ходишь?



– Зачем мне? Я и так все, что мне надо, умею и знаю. Читать умею, писать, знаю счет. Для чего мне лишнее?

– Это не лишнее, – возражала Уля, наблюдая за тем, как лихо Алеша делает рачницу, обвязывая сеткой ивовый прут и прикрепляя к центру камень с тухлой рыбой, а сама думала: «А правда, что толку, что он знал бы кучу ненужных вещей, которые знаю я?» Она вспоминала воспитанных петербургских мальчиков, с которыми бывала вместе на детских утренниках и елках: «Окажись они здесь, то пропали бы, не знали бы, как меня укрыть, а с Алешей ничего не страшно».

Страшно было только однажды, когда под вечер вытаскивали из реки перемет и после лещей, язей, налимов увидели на предпоследнем крючке человеческий нос, от которого шел резкий запах. Уля закричала, затряслась, Алеша побледнел, поднял голову и, ни слова не говоря, показал пальцем на реку. На самой ее середине, медленно вращаясь, плыл на спине человек в шубе, брюках и валенках. Лицо у утопленника было белое, обезображенное, волосы тоже белые, спутанные.

– Это мы его... переметом зацепили.

– Надо взрослым сказать.

– Не надо, пусть плывет куда плывет. А мы ничего не видали. Зимой управляющий князя Люпы пропал. Поехал с утра на станцию, а вечером лошадь пришла с пустыми санями. Мужики его, говорят, убили.

– За что?

– Немец был. Нитц. А князь запил и от тоски вслед за ним помер. А перед тем наказал выставить на похоронах три ведра самогону, напоить всех, и чтобы на поминках до упаду плясали и плакать не смели.

Уля втянула голову в плечи и посмотрела по сторонам. Но ничего особенного не происходило: виднелись вдали темные деревенские избы с растрескавшимися бревнами и нарядными окнами, цвели луга, пели птицы и шли по полю загорелые, уверенные в себе женщины в узорчатых платках. Ничто не могло эту мирную картину порушить, и только отец, когда читал газеты, говорил странное, тревожное, иногда ему присылали телеграммы, от которых он смурнел, но Уля в эту сторону его жизни не вникала. Когда мачехи не было рядом, ей хотелось прижаться к нему, почувствовать родной запах и сладко заплакать, но отец в те минуты, когда она к не-му ластилась, становился беспомощным, деревенел, пугался, и это останавливало ее и будило мысли мутные, тяжкие: «А может, и он мне неродной? Может быть, я вовсе подкидыш, сирота? И у меня были другие родители?»

Дни стояли долгие, не по-северному сухие, безветренные, жаркие. Жирное, студенистое солнце поднималось над горизонтом и лениво плыло по белесому небу, обжигая и суша кожу земли. Уля ждала вечера, тех часов, когда деревья начнут отбрасывать длинные тени, которые постепенно размывались, смешивались с сумерками, и все холмистое пространство слабо озарялось прохладной луной. Чем ближе было полнолуние, тем сильнее волновалась в ней кровь. Она знала, что такою ночью будет бежать, была возбуждена и тормошила худого большеголового Алешу, но взять его с собой не могла, а он смотрел на нее двумя грустными прищуренными глазами и, как умная собака, чуял ее недолгую судьбу.

Под вечер возвращались охотники. Измученный, мокрый от пота, грузный механик едва волочил стертые ноги и надсадно дышал, а жилистый, неутомимый Павел Матвеевич был бодр, будто не по лесам и болотам вдоль Шеломи шарашил, а сидел весь день в тени в парусиновых креслах и читал модного иностранного писателя Гамсуна вперемежку с иллюстрированным журналом «Нива», как это делала Вера Константиновна Комиссарова, жена механика, высокая, крупная женщина с тяжелыми медными волосами, относившаяся к Легкобытову с такой насмешливостью и подчеркнутым презрением, что даже Уле становилось неловко. Однако охотник невежливости не замечал или придавал женским уколам значение не большее, чем

лаю деревенского беспородного пса. Веру Константиновну его снисходительность и пренебрежительность еще пуще злили и красили. За что именно мачеха своего деревенского соседа презирала, наблюдательная Уля уразуметь не могла – то ли за простонародную хозяйку с ее курами и козами, то ли за то, что Павел Матвеевич ничем своей бабе не помогал, а лишь пользовался ее трудами и услугами: она даже портянки ему наматывала, он так и не научился, зато был высокомерен сверх меры, воображал себя знаменитостью и, когда приезжал в Петербург, вечерами ходил на религиозные собрания в философский клуб для интеллигентов, а ночами водил дружбу с темными и страшными людьми – сек-тантами-чевреками. Об этих сектантах он вполголоса рассказывал, что есть у них главный человек – Исидор Щетинкин, бывший ученый иеромонах, бывший черносотенец, оратор и миссионер, которому чевреки поклоняются как богу, а он заставляет женщин делать с ним половые мерзости.

– Они все там бывшие.

– Это как? – недоумевал механик Комиссаров.

– Родители, когда их дети становятся совершеннолетними, от них отрекаются и говорят: мой бывший сын или моя бывшая дочь. А дети – моя бывшая мать или бывший отец.

Все это было и страшно, и непонятно, но странным образом сильный, кряжистый Легкобытов с его черной с проседью бородой и крючковатым носом Улю то пугал, а то завораживал, и она старалась почаще попадаться ему на глаза, хоть и боялась красивой Пелагеи.

Павел же Матвеевич был с девочкой ласково-равнодушен, но при этом не слишком внимателен. Однажды только поинтересовался на ходу высоким, мальчишеским голосом, совсем не подходившим к его диковатому лесному облику:

– Что это вы читаете, милая барышня?

– «Антоновские яблоки», сочинение господина академика Бунина, – сказала она примерно и сделала глубокий книксен.

– А-а, соседushка... – Мягкие губы презрительно дернулись и приоткрыли коричневые зубы. – Однокашничек.

– Вы с ним учились? – спросила Уля благоговейно.

– Вот уж, слава богу, не довелось. Его прежде меня из гимназии выставили.

– За что?

– За неспособность к наукам, надо полагать. А чего с малокровного дворянского сынка взять?

– Вы-то кто тогда? – побелела от обиды Уля.

– Я – сын лавочника и радостный пан.

Пелагея Ивановна разделявала подстреленную птицу, бросая потроха собакам, и казалось, что-то насмешливое было в движении ее бесстрастных, больших, никогда не замиравших в работе рук. Тихо стрекотали кузнечики, мужчины пили водку, но немного – Улин папа пить не любил, а мнительный Павел Матвеевич любил очень, но еще больше боялся спиться подобно своему отцу-алкоголику, и, сидя в глубине террасы, Уля слушала, как Легкобытов рассказывает историю своей первой любви.

## 2

– ...за границей. Я – изгнанный с волчьим билетом из гимназии недоучка, отсидевший год в одиночной камере за политику и возненавидевший революцию студент Лейпцигского университета. Она – дочь статского советника из Петербурга. Мы познакомились в Берлине, в Старом музее, возле одной очень странной скульптуры. Это мраморное изваяние девочки, одетой в короткую тунику, приспущенную с одного плеча. Волосы у девочки убраны по-взрослому, она сидит, поджав ноги, смотрит вниз и отрешенно перебирает какие-то камушки. Самое поразительное, что, когда глядишь на нее с разных сторон, возникают противоположные ощущения – умиление, печаль, нежность, безысходность.

– Девочка, играющая в кости, – сказал Комиссаров с важным видом. – Очень известная древнеримская скульптура. Второй век до нашей эры.

– Она стояла перед ней с таким напряжением, словно это была ее дочь, младшая сестра или, возможно, она сама, таинственным образом проживающая свою вторую жизнь, и я вдруг понял, что всегда любил эту маленькую темноволосую женщину, которую издалека можно было принять за ребенка. Да-да, ее одну и больше никого. Она стояла и не уходила очень долго, а потом обернулась ко мне, я увидел у нее на глазах слезы, хотел что-то ей сказать, но немецкие звуки застряли у меня в горле, и вырвались наши.

– А-а, вы русский? – промолвила она невесело и взяла меня под руку. – Ну конечно, кто же еще здесь может остановиться? Как вы думаете, сколько ей было лет?

– Не знаю, одиннадцать, возможно, двенадцать.

– Нет, она была старше, – возразила она. – Она была уже девушкой. Посмотрите на ее грудь. И на лице у нее были веснушки.

– Почему вы так решили?

– Не знаю. Мне так кажется. А отчего вы вдруг покраснели? – спросила она рассеянно и прибавила: – Господи, какая ужасная история. Вы так ничего и не поняли?

– Нет. Что я должен был понять?

– Это надгробие. Девушка умерла, и родители поставили памятник на ее могиле. А теперь ее второй раз разлучили с телом и выставили всем на обозрение.

Признаться, мне стало очень не по себе: я терпеть не могу надгробий, кладбищ, памятников и всего, что с этим связано, и она это как будто почувствовала:

– Ну что, пойдете? После этого уже нельзя ни на что здесь смотреть.

Мы бродили по Берлину весь вечер, отвлеклись, я говорил ей нежные слова, говорил впервые в жизни, безо всякого смущения, она слушала и почти ничего не отвечала, но по ее молчанию я догадывался, что ей приятно. Вскоре я понял, что она совсем не знает жизни: сначала француженка-гувернантка, потом Смольный институт и заграница – подальше от России, чтобы не видеть всей нашей грязи... Так повелел ее чиновный папаша, она поначалу рыдала, хотела из дома убежать и чуть ли не пойти в монастырь, а потом покорила и была его волей премного довольна. А еще бы! Предоставлена сама себе, получала на свое содержание немалые деньги и никому ни в чем не давала отчета. Возвратиться в Россию ей показалось бы теперь самым страшным наказанием. Однако даже в Берлине воротила нос от рабочих в трамвае – те якобы дурно пахнут. Я ее пристыдил, и она рассказывала мне потом, что поначалу я ей совсем не понравился и она даже не ожидала, что я окажусь таким глубоким, страдающим человеком. Мы встречались с ней каждый день, гуляли, много разговаривали. Ее почему-то особенно интересовало, как я чувствовал себя в тюрьме, о чем думал, какие видел сны, приходил ли ко мне кто-нибудь на свидание, хотя мне эти воспоминания были неприятны. Но она все равно спрашивала. Иногда мы заходили в Старый музей к той девочке, собирались пожениться, да так и не поженились.

– Отчего? – полюбопытствовал Василий Христофорович.

– Отчего люди не женятся? Она богата, знатна, я неуч, голь, человек с темным прошлым и безо всякого будущего. Ей было даже страшно сказать родителям, с кем она связалась. Да и что бы мы стали делать дальше? Возвращаться в страну, которую она презирала? Оставаться за границей мне? Да там такой охоты, как у нас, нет. Она считала меня фантазером, человеком ненадежным, неверным. Но главное было все-таки не в это, – сказал тише, так, чтобы не услышала Пелагея Ивановна, Павел Матвеевич, и глаза его чудесно замерцали в полупрозрачной мгле. – Мне было двадцать семь лет, а я еще был девственником.

– Ах вот оно что! – воскликнула Вера Константиновна и звонко рассмеялась. – Потому-то вы так покраснели в музее. Первый раз увидели грудь молоденькой девушки, да и та оказалась мраморной.

– Не понимаю, что в этом смешного, – нахмурился Легкобытов.

– Простите, я не хотела вас обидеть. Просто я только теперь догадалась, отчего у вас такой тонкий голос. Мальчики, которые поздно становятся мужчинами, все писклявые.

– Обидеть? – удивился Павел Матвеевич. – Неужели вы думаете, что этим можно обидеть? Я и писателем не стал бы, если бы растратил в молодости свое драгоценное вещество. Нет, это хорошо, что так получилось, я не жалею. А там была своя причина, детская, глубокая... И женскую грудь я увидел гораздо раньше, если вас это так интересует. Я был мальчиком, гимназистом, когда меня впервые привели в публичный дом. Там был большой рояль, какой-то пьяный безумец на нем играл, огромная голая женщина, лиловая, толстая, повела меня за собой... я испугался, закричал... Нет, не хочу вспоминать. И она тоже была совсем неопытна в свои двадцать три или двадцать четыре. Это нас сковывало ужасно. Мы боялись даже поцеловаться и словно ждали, что кто-то должен нас этому научить.

– Прямо Дафнис и Хлоя какие-то! – опять не удержалась мачеха, и освещенное керосиновой лампой удлиненное лицо ее с блестящими глазами и чувственными губами против обыкновения выразило не иронию, но сочувствие, хотя сочувствовала она, как показалось девочке, лишь никому не ведомой женщине.

– Те двое были совсем юными, мы – нет, – возразил Легкобытов и бросил на Веру Константиновну быстрый взгляд. – Я любил ее, но в этой любви не умел соединить тело и душу. Мне казалось, ее это оскорбит. А ее оскорбляло другое. Измучили мы друг друга донельзя и в конце концов расстались. Я вернулся в Петербург на грани самоубийства. Или поступления в секту, что, впрочем, одно и то же. Приходил на собрания к чеврекам, слушал, как они поют свои протяжные за-унывные песни, и внимал их проповедям. Жизнь есть чан кипящий, говорили они. Бросьтесь в этот чан с головой, умрите, и мы вас воскресим. Я ходил по краю, голова у меня кружилась. Щетинкин твердил мне, что давно считает меня своим, и удивлялся, почему я к ним не переселяюсь. А мне казалось, еще немного – и я взорвусь. Пойти к проституткам я не мог – брезговал, боялся подхватить дурную болезнь или опозориться... Не знаю, что меня спасло. Наверное, мать обо мне молилась. А может быть, охота уберегла. Я убил свою первую птицу задолго до того, как познал первую женщину, и уже тогда почувствовал себя свободным и независимым. Я понял, что должен раствориться в русском пространстве и расходовать энергию только на добывание средств к существованию, а все остальное для чего-то копить. Впрочем, ничего другого я и не умел. Уехал в деревню, ходил на охоту, почти не спал и однажды встретил женщину, молодую, красивую и очень простую. У нее был муж, за которого ее выдали насильно в пятнадцать лет. Он ее бил, оскорблял... Она ушла от него к родителям, но он как-то раз подловил ее у реки, когда она пошла за водой, намотал косы на руку и начал топить. Поля изловчилась и ударила его коромыслом. Он потерял сознание, стал тонуть, и она его еле вытащила.

– Ужас какой!

«А зачем вытащила?» – едва не высунулась из своего угла Уля.

– Она ж не изверг какой, – точно услышал вопрос девочки Легкобытов и повернулся к Вере Константиновне. – Здесь так живут – чего вы хотите? Оставаться в деревне после этого ей было невозможно. Несколько лет скиталась по людям, работала прачкой, кухаркой, родила от кого-то ребенка и однажды пришла ко мне спросить, нет ли для нее работы. Она стояла на крыльце моего дома – гибкая, сильная, в простом ситцевом платье, и на лице у нее было какое-то странное, очень гордое выражение, точно она не наниматься пришла, а снисходила до меня. Ах, жаль, у меня не было тогда фотоаппарата. Я был счастлив с ней – она сняла с меня мое благословенное проклятие как раз тогда, когда его и надо было снять. Вы и представить себе не можете, что испытывает мужчина, с которым первый раз это происходит почти в тридцать лет. Так скапливаются в болотах солнечные лучи, а потом возгорают, и уже ничто не может их потушить. Вот и я возгорел огнем неугасимым. И с той поры где и сколько мы только с Полей не любились – на лугах, полях, в лесу. А после она всякий раз пела мне песни, но я всегда помнил о том, что у нее не первый и даже не второй мужчина. Она была меня на несколько лет моложе, но очень опытна, и я не мог разобраться, оскорбляет это меня или нет. Но душа у нее оставалась девственной. Мне нравилась ее речь – за нею можно было записывать. Меня умиляло все, что она делала: стряпала, стирала, полола, доила корову, которую мы купили, как только сошлись. Вот какие соки-то были! Но более всего меня восхищало то, что она неграмотна, не испорчена тем, чем испорчены тысячи людей вокруг. Я даже взял с нее клятву, что она никогда не будет просить меня и не научится сама читать или писать. И уж тем более никогда не прочтет написанное мной. Но прошло время, и я заскучал. Поля стала казаться мне обыкновенной, такой же как все, деревенской бабой – мелочной, сварливой, придирчивой. А грамотной или неграмотной – какая разница! Прошла иллюзия жизни с мужичкой. Потом она забеременела, подурнела, и я уехал в Петербург. Адреса ей не оставил. Поселился на Охте, где огороды. И вот представьте себе, она меня там нашла. Продала корову и явилась однажды с двумя детьми. Хотел прогнать ее, да духу не хватило. Так я фактически и женился, хотя повенчаться мы не могли: Поля до сих пор не разведена.

Он замолчал. Ночь была короткая, дрожащая, с до конца не ступившейся, какой-то разведенной чернотой и смутным светлым пятном на севере, отражавшим воду далекого озера и доносившим до террасы его свежесть и сырость. На фоне северного света четко были видны силуэты взрослых людей: застывшей – точно в игре «Замри!» – изящной женщины и двух мужчин, один из которых казался пожилым, вялым, а другой был свеж, взволнован, силен. Пронзительно кричали совы. Пахло неизвестными травами и цветами. Изредка поднимался слабый ветер, но потом все снова стихало.

– И это всё? – сказала Вера Константиновна и поежилась.

– Весной я познакомился с одним человеком, этнографом, который занимался степью и степняками. Я поехал с ним в Киргизию, там совсем другая охота, чем здесь, очень интересная, с архарами, которых особенным образом приручают, и я подумал остаться в степи навсегда. Но потом понял, что степь не для меня, я лесной человек и голое пространство до самого горизонта, когда не за что зацепиться глазом, меня подавляет. Я вернулся в Петербург и написал за две недели книгу про арабов и черных птиц. Ее опубликовал мой приятель полковник Девриен и посоветовал мне писать еще. А потом родился второй мой сын, и я смирился, семейство стало для меня чем-то вроде обоза, с которым я кочую по свету, но ту, другую, неземную, неплотскую женщину я не забывал все эти годы. Она была как зеркало мое, и в этом зеркале я видел лучшую, неоскорбляемую часть своего существа. Я писал ей длинные письма, она отвечала коротко, говорила, что много работает и очень занята. Она поссорилась с отцом, ей нужно было зарабатывать на жизнь, а она привыкла жить хорошо... Как она там существовала, вышла ли замуж, нашла ли себе покровителя, поступила ли на службу, куда? – я не знал, но меня это так мучило, что я даже боялся о том спросить. Только однажды она вскользь упомянула чью-то поразившую ее фразу, что долг каждого русского за границей быть шпионом для своего

правительства. Но что это значило? Не знаю... Я жил от одного ее письма до другого. А она отвечала нерегулярно, да и почта между нашими странами медленная. Однажды я набрался смелости и послал ей свои книги. «Мне непонятно и скучно то, что вы пишете. У вас совсем нет людей, а только одна природа», – ответила она полгода спустя, и в тот миг, когда я прочел ее приговор, был готов уничтожить, разорвать все написанное мною. Мне было плевать, что говорил про меня Разумник Васильевич, что меня приняли за мои сочинения в Географическое общество и однажды я получил письмецо от Валерия Яковлевича, а потом подружился с Алексеем Михайловичем. Ничто не стоило хотя бы одного слова ее одобрения. Но этого слова не было. И вот несколько лет назад она неожиданно назначила мне свидание на вокзале в Польцах. Она возвращалась из-за границы и была проездом в наших краях. Вы себе представить не можете, какое это произвело на меня впечатление. Я не мог спать несколько ночей, забросил охоту, ничего не писал, а Поля стала что-то подозревать и следила за каждым моим шагом. Она не могла прочесть ее писем, да и встревожить они ее не могли: у меня каждый день бывает порядочная корреспонденция, но мне все время чудилось, что она знает все. Это было что-то невыносимое. Куда бы я ни шел, мне чудились Полины шаги, ее сухие тусклые глаза. Я так измучил себя, что перепутал случайно день. Приехал на станцию на сутки позже.

Голос у него сделался страшно печальным и хриплым от ночной сырости, так что даже мальчишеская звонкость куда-то подевалась, стерлась.

– Так я разминулся с единственной женщиной, которая могла бы составить мое счастье. И после этого она исчезла навсегда. И больше я ее не видел. И уже, наверное, не увижу. Не знаю, что было бы, если бы мы все-таки поженились. Возможно, я был бы счастлив, а может быть, она точно так же надоела бы мне и я бы раздумывал, куда от нее сбежать. Но разве эти вещи заранее поймешь? Но что я точно знаю, так это что без нее счастлив не буду никогда. Самое поразительное, что я совсем не помню, как она выглядит, хотя долгое время надеялся встретить ее в петербургской толпе. Помню, как она одевалась, все ее юбки, клетчатую кофточку, дамские ботинки коричневого цвета – все, что так умиляло меня, а вот лица почему-то не помню. И фотографии ее у меня нет, и, наверное, даже если б я увидел ее сегодня, то не узнал бы. А она прошла бы мимо меня. Да и столько лет миновало – мы оба очень переменились. Но если бы она меня только поманила... Я бы ушел от Поли, и она это знает. И не пускает меня. Представьте себе, каково это – жить с женщиной, которая стесняет вашу свободу, каждый ваш шаг, и думать все время о другой...

Он говорил еще, что-то отвечали ему мачеха и отец, но Уля уже не слышала. Она размышляла о женщине, с которой что-то странное произошло, она, наверное, так и не вышла замуж, а если и вышла, то продолжает Павла Матвеевича любить, а муж ее ничего не знает, но догадывается, что жена любит другого, и страдает. Чужая судьба волновала ее больше, чем собственная, она как будто заранее смирилась с тем, что из нее самой ничего не получится, потому что она – Уля, Ульяна Комиссарова, нечаянно родившаяся во дворце великого князя Петра Николаевича, ценителя и покровителя изящных искусств, брошенная родной матерью и ненужная отцу пятнадцатилетняя фантазерка с исцарапанными ногами, холодным утиным носом, мелкими веснушками на худощавом лице и длинными русалочьими волосами, которую однажды на высоком холме на фоне полуночного неба над Шеломью увидел писатель Легкобытов и едва по привычке не вскинул изящное немецкое ружье.



## 3

Это дамское ружьецо редкого двадцать четвертого калибра Павел Матвеевич купил в магазине Ганса Кронгауза на Васильевском острове близ Ярославского подворья на второй год своей жизни в Петербурге. Стоило ружье немислимо дорого – пятьдесят рублей, но он влюбился, как юноша, и не смог устоять, хотя не только в красоте заграничной вещицы было дело. Легкобытов помимо высокого голоса обладал еще и тайным изъязном, о котором никому не рассказывал и от которого куда больше страдал: у него были слабые руки. Ноги как у лося, глаза остроты запредельной, выдержан, хладнокровен, осторожен, неутомим, зверя мог преследовать с рассвета до темноты, а иногда и при свете луны, проходя по несколько десятков километров осенью по чернотропу и по белой тропе зимой, а вот руки подвели, не иначе как не от семижильной матери, но от хрупкого отца, ничего тяжелее колоды карт не поднимавшего, достались, и оттого из больших, или, как говорили охотники, харчистых, ружей Легкобытов промахивался и очень нехорошо эти промахи переживал. А легкий бескурковый «зауэр», весивший всего два с половиной килограмма, с темномореной ложей из орехового дерева, с настоящим костяным затыльником, лег ему в руки, точно перо, только вот денег у Павла Матвеевича в тот момент не то что на «зауэр», на хлеб и табак едва хватало, однако ружье попадалось на глаза каждый день, как тому бедному чиновнику, для которого Гоголь пошил шинель, и разумная Пелагея угадала тайное желание супруга.

– Занимай деньги и покупай. Уйдет ружье – не простишь себе.

Уговаривать было не надо. Занял у Улиного отца, занял у серьезного критика Разумника Васильевича Иванова-Разумника, даже у маленького Алеши Ремизова перехватил три рубля, к неудовольствию его жены Софьи Павловны, надменной литовской княжны Довгелло, порицавшей дружбу мужа с грубоватым охотником еще резче, чем Вера Константиновна. А больше всех помог издатель Пешков, который Легкобытова всем молодым писателям в пример ставил: идите в народ, учитесь у народа, учите народ, женитесь на народе, рожайте от него, усыновляйте или берите себе в отцы, и какую-то нехорошую издевку, злую иронию в его якающем говорке чуял Павел Матвеевич, но ущучить Пешкова не мог, а связываться с ним не хотел – инстинкт охотника подсказывал, что тот ему еще пригодится.

Долг он постепенно отдал, и с той поры ходил на охоту с «зауэром», успевая сделать два выстрела против одного у замешкавшихся товарищей – благо дым от его ружьишка быстро расходился, а двенадцатикалибровые пушки когда еще снова готовы будут. Товарищи, сначала над ним смеявшиеся и прозывавшие его деликатное ружье «прутиком», ему завидовали, а он своими слабыми руками всех обстреливал, и так это было всем досадно, что над Павлом Матвеевичем смеялись еще злее, и вскоре он стал ходить на охоту один, пока не взял себе в товарищи незлобивого механика. Только вот убойная сила у «зауэра» была маловата, и, если пуля попадала не в кость, птица падала не сразу и потом ее было трудно найти. А некоторые улетали и так с дробью и жили.

Ничего этого Уля не ведала, хотя следила за Павлом Матвеевичем со всею зоркостью молодых глаз и у Алеши все выпрашивала, но он не много мог рассказать. Говорил только, что раньше, когда у отчима не было своих собак, он брал с собой на охоту его, Алешу, и учил искусству гончего пса.

– Да и теперь иногда таскает. Чтобы я навык не потерял. Ставит на расстоянии выстрела и велит гнать. Что выгоняется – в то и стреляет. А я потом подбираю. Он добрый, только вспыльчивый очень. Мать его так боится, что не детям своим родным, а ему всегда лучшие куски подкладывает. Зато попробуй ему что-нибудь поперек сказать – убить может. А сам рассеянный такой. Иной раз задумается, встанет как верстовой столб и стоит по часу на одном месте. И, если долго стоит, обязательно что-нибудь забудет, а мне потом бегай по лесу, ищи.

Еще он боли не терпит. Когда зубы болят, сыплет на них кристаллическую карболку... Мать говорит, иди к врачу, ты все зубы потеряешь, вон свистеть уж не можешь, свисток костяной на охоту таскаешь, а он ей – плевать, я протез вставляю.

«Вот какой человек, – думала Уля, облизывая пересохшие губы. – Мог бы жить в Петербурге, видеть каждый день Брюсова, Блока или самого Леонида Андреева... Мог бы с ними разговаривать, спрашивать, что они сейчас пишут. А он взял и уехал в лесу столбом стоять».

Однажды она не вытерпела и поделилась своими мыслями с мачехой, ибо Вера Константиновна, хоть и холодна была да заносчива, но, по Улиному разумению, разбиралась в людях и во взрослой жизни.

– Блока хорошо каждый день видеть, если ты сам как Блок. Или как Бальмонт, – ответила Вера Константиновна мечтательно. – А если нет, это тяжелое испытание, Юлиана. Легкобытов трусоват, он удрал ото всех и спрятался в этих Горбунках, хотя о нем еще, помани мое слово, услышат.

Лицо у Веры Константиновны затуманилось, журнал скользнул из нежных рук, и Уля поймала себя на ощущении, что мачеха как-то странно переменялась к их деревенскому соседу. Куда-то подевалась ее насмешливость, и эта перемена подхлестнула в девочке острую, мучительную наблюдательность, с детства ее терзавшую.

– Павел Матвеевич, а зачем вам такая большая и страшная борода? – услышала она однажды мачехин вопрос.

– А это если кто захочет мне в рожу плюнуть, так в бороду попадет.

– Нет, вы все-таки очень ранимы, – пробормотала Вера Константиновна и дотронулась до его рукава. Ревность и тревога коснулись в тот миг Улиного сердца, и она решила быть еще более внимательной и неутомимой – у нее в Высоких Горбунках своя была охота за чужим счастьем и несчастьем, но Легкобытов уже стремительно несясь вперед, не замечая двух пар женских глаз, вглядывавшихся в его плотную спину. Какой уж там Бальмонт? Или даже Блок? Мужлан, купчина, сектант.

...А между тем, что были Павлу Матвеевичу Бальмонт или Блок? Одного он лично не знал, хотя стихи его про будем как солнце в свою книжечку в качестве эпиграфа украдкой вставил, а с другим был знаком и попросил его на ту же книгу рецензию написать в декадентский журнал «Весталки». Тот не отказал, написал: это, мол, и не поэзия, и не проза, а еще что-то... Если не вдумываться, то очень даже уважительно получилось. У поэта Белого изящно позаимствовано из статьи о современном искусстве. Однако этим «чем-то» Павел Матвеевич всю жизнь козырял. Блока да Бальмонта пусть не любят те, кто сомнительной княжеской крови и хулиганят на чужих кухнях и в подворотнях, на дурацких дуэлях секундантами подрабатывают, левой рукой порнографические рассказы про банных девок и колченогих похотливых бар пишут, а правой – про целомудренных и верных дам, каковых в природе не существует, сочиняют. Он же ни с кем не тягался, потому что шел своим путиком, но при редких встречах с Блоком испытывал неловкость и все боялся, как бы залезший на башню поэт ненароком оттуда не звезданул и не ввел бы во искушение своих обожательниц.

Другие два человека Павла Матвеевича в ту пору мучили. Одного он узнал недавно и называл Скопцом Аттисовых тайн, перекасти-полем, человечком без корней, пустым иностранцем, всю натуру которого составляло эфемерное вещество начитанности и учености, а вынь это вещество, весь эфир улетучится и лишь оболочка останется – ни крови, ни семени, ни иных человеческих выделений. Оттого, хоть и женат был Скопец на одной половой ведьме, пустившей гадкий слух про Легкобытова, будто бы он бессмысленный и бесчеловечный писатель, недаром не было у болтуна и болтуньи детей, а одни рассуждения и пыль дорожная. Да и она тоже: подай ей то, чего нет свете. А на свете есть все – надо только уметь найти. Но все ж общественное мнение Скопец на пару со своей бабой как приданое к залежавшемуся таланту сколотил, и через его квартиру на Таврической набережной проходили все пути к земной славе, а слава эта

была Легкобытову отчего-то нужна, недаром на склоне лет, уже став самым совершенством и воплощенной добродетелью, он писал в потаенных тетрадках о самолюбии как о единственном своем недостатке. А что было говорить про молодость, когда весь был как натертая ступня.

Павел Матвеевич сунулся к Скопцу раз – не приняли, другой – дальше порога не пустили, велели только небрежно рукопись оставить и приходить через месяц за ответом. Но лучше б не приходил: читайте «Капитанскую дочку», учитесь, развивайтесь, тянитесь – вот и все наставления в барской прихожей. Выматерился и хотел прах отрясти с ног на пороге, но предусмотрительно обождal. Скопец – птица непростая, тут осторожный подход нужен, как к токующему глухарю. И хитроумный охотник своего добился. Поехал в нижегородскую губернию на озеро Светлояр, вокруг которого во дни летнего солнцестояния ползала на коленях подпольная сектантская Русь, взыска града невидимого, а петербургская интеллигенция в ближней сторонке за народными чаяниями наблюдала, умилялась и в пухлые тетрадки золотые слова записывала. В разношерстной толпе богоискателей Легкобытов отыскал небогатого годами, но спесивого младостарца-начетника Фому-фарисея, который в девятьсот пятом напоказ всему миру порвал с церковью, публично надерзил Победоносцеву и пригрозил Синоду скорым концом света, ежели царя немедленно не изберут в патриархи. Скопца же Фома хорошо знал, потому что, прежде чем уйти в царебожники, читал его сочинения, а потом встречал на Светлояре и дискутировал с ним, что есть истина и в каком обличии явится антихрист. На Легкобытова младостарец поглядел неприязненно и обозвал нехорошим энергичным словом, но Павел Матвеевич не смутился. Он народного фарисея и книжника как блесну нацепил и с приветом от него пришел в Петербурге к нетрезвому духом провидцу.

– Жено моя, слышишь ли ты, нам шлют привет из Китежа, – задыхаясь, сказал тощий Скопец своей Кибеле. – Ну проходите, проходите же, что вы тут стоите как памятник самому себе? Что он еще обо мне говорил? Рассказывайте, рассказывайте... Зина! Да где же ты, наконец?

И Павел Матвеевич принялся рассказывать... А на следующем заседании Религиозно-философского клуба уже полз по сцене, а потом и по залу среди рядов, шокируя почтенную публику пронзительными выкриками: «Ползут, все ползут! Взыщут града невидимого!» – и призывал следовать за ним. Публика лорнировала лохматого докладчика и находила его корявым, как деревенский топорик, но забавным и полезным. Так и заполз он куда хотел.

А вот другого великого ничем взять ему не удалось, хоть и знали они друг друга много лет и виновен тот великий был перед ним безмерно. Это из-за него Павлик Легкобытов в девственниках чуть ли не до тридцати лет проходил и увлеченно врал красивой даме на террасе в шеломской деревне, как этим обстоятельством счастлив; из-за него поломал свою жизнь, потерял единственную возлюбленную и, вместо того чтоб выращивать тихую рожь иль другим путным делом заниматься, заделался писателем. Это он, Приап, Мин, Сатир, властитель дум и скандалист, подкаблучник, отец кучи незаконнорожденных детей, а тогда никому не ведомый провинциальный философ с булочной фамилией Р-в, издавший на свои деньги книгу, которую его коллеги на мужской учительской сходке публично обмочили в самом буквальном смысле слова, коллективно на нее помочившись, – вот, дескать, чего она стоит, а книга и впрямь ничего не стоила, ибо весь ее тираж недотепа сдал на вес старьевщику, это он не иначе как в припадке озлобления и зависти Павлушу Легкобытова из гимназии турнул, после того как столкнулись двое, учитель и ученик, лицом к лицу в известном заведении мадам Розье на Епифанской улице в тот день, когда пост пополам хряпнул и мартовские коты полезли на крышу. Это из-за него юный Легкобытов хотел в четырнадцать лет наложить на себя руки – и наложил бы, когда б не сумасшедший дядюшка-купчина, материн брат Игнатий Игнатьевич, увезший племянника в сибирский град Тобольск, где законы империи были не писаны и хулигана приняли в реальное училище, и там он стал первым учеником, а закончив, исхитрился поступить в Рижский политехникум. Однако до конца так и не выправился, стал корпорантом *Frater-nitas arctica*, оттуда

попал к марксистам, поехал в Сванетию и выучился танцевать лезгинку у одного сосредоточенного рябого грузина, а потом угодил в тюремный замок в международном городе Вильно и целый год вышагивал в одиночной камере от стенки к стенке, как от южного до северного полюса и солнце видел только в окошке. И все это время о Р-ве думал и представлял, как они встретятся. А когда встретились?

«Нет, не помню. Как вас, простите? А фамилия? – И поблескивая очками, за которыми насмешливые, высокомерные, опасливо глядели острые, словно гвоздики, ржавые глазки. – Нет, не знаю, не слышал, не видел. Я бы запомнил. Интересная фамилия. Из мещан будете? Ах, из купцов? Да, я преподавал древнеегипетский язык в одном скверном городишке в Орловской губернии в восемьсот восемьдесят пятом году, но из гимназии никого не выгонял. Вы меня с кем-то спутали. Так вы еще и пишете? Это неудивительно. Сейчас все пишут. Не читают только. На религиозные темы? Вы что же, верующий? Ах, ищущий, но не нашедший. Понимаю, очень хорошо понимаю. Обратитесь-ка в таком случае, голубчик, к Димитрию Сергеевичу и к Зинаиде Николаевне – у них свои, я слышал, обедни служат. Как, уже были? И что ж они вам сказали? Что вы не проходили декадентства? Как-как не проходили? Био-гра-фи-чески? – И вдруг зашелся, закатился, обидно, до слез захохотал, брызнув слюной и обнажив гнилые зубы. – Так вы, мой милый, уникам. – А потом, отсмеявшись, вытер рот и рек: – Ну, тут уж я ничем помочь не могу. Я не философ, сударь, и не писатель, я газетчик, фельетонист, журналюга и занят теперь, статьи пишу. Одну в “Русское время”, а другую в “Новое слово”. А напутствие вам одно могу, юноша, дать: держитесь-ка поближе к лесам и подальше от редакций. А главное – от меня подальше держитесь».

И как крик души уже в дверях: «Мне семью кормить надо! У меня четверо своих детей, да еще падчерица всю душу треплет!»

– Козел ты, какой же ты козел! Как был козлом, так и остался! Семья ему главное, как же! Падчерица! – всхлипывал Павел Матвеевич, размазывая слезы по заросшим щекам и хватая мокрыми некрепкими руками свой чудный «зауэр».

## 4

Уже два месяца стояла жаркая, душная, безветренная погода, земля высохла, затвердела, а потом растрескалась, из хрупких, трескучих лесов потянуло пылью и дымом пожаров. Горизонты вокруг Горбунков сделались мутными, ночами были видны далекие зарева, которые окружали деревню со всех сторон; днем хмарь от лесного огня заволакивала небосвод, солнце проглядывало сквозь пелену и не обжигало, как прежде, а удушало. Местный священник отец Эрос велел ждать дождей на Вознесенье, потом на Троицу, потом на Иванов день, но их не было и не было. В деревне пересохли колодцы, бабы спускались за водой к реке и с трудом тащили ведра в гору, а мужики с тоской смотрели на чахлые поля и огороды. Такой засухи в деревне не помнили давно, говорили, что кто-то сильно согрешил против Неба, а про отца Эроса шептались, что нет на нем благодати и батюшку хорошо бы сменить либо позвать тайного учителя. Эти слухи роились, склеивались, цеплялись друг за друга и постепенно скапливались в какую-то угрожающую массу, темную тучу, готовую пролиться вместо дождя или в любой момент вспыхнуть огнем, подступающим к деревне. Угрюмая мрачная сила искала выхода и в конце июня нашла. В ночь на Ивана Купалу несколько самых отчаянных мужиков вырыли из могилы труп несчастного князя Люпы, на чьих похоронах гуляла вся деревня, и спустили его в Шеломь вслед за Нитщем. Второй за месяц труп проплыл по Шеломи так же незаметно, как и первый, однако засуха после этого сделалась еще злее, а вода в реке начала стремительно убывать.

...Дни были похожи один на другой, томительные, долгие, однообразные и изматывающие душу и тело. Рано замолкли и куда-то подевались птицы, попрятались звери, однако, несмотря на сухость и дым, комаров и мошки меньше не становилось, зато злости в голодных насекомых стало куда как больше. Комары взлетали из травы, пикировали с неба, мошка облепляла лицо, лезла в рот и в глаза, и никакие ветки, которыми хлестала себя по рукам и ногам Вера Константиновна, не помогали. Несколько раз ее кусали так больно, что у нее опухали губы и щеки. Ночами комары пробирались в избу, противно пищали над ухом, и горожанка с раздражением думала: скорей бы уж укусили, чем так жужжать. Рядом безмятежно, не обращая ни на что внимания, храпел муж, и никакие комары его пропахшую машинным маслом, задубелую кожу не трогали, в соседней светелке неслышно спала его дикая дочь.

Вера Константиновна была крайне недовольна домашними, которые из года в год тащили ее в глухую, Богом забытую деревню. Люди ее круга должны отдыхать иначе. Особенно сердита она была на мужа: зарабатывал механик порядочно, но тратить деньги на отдых, путешествия, заграничные курорты и воды считал невозможным. Про то, чтобы хорошо одеваться, иметь свою модистку, носить красивые платья, белье, она и думать не смела. Вообще, на что его деньги уходили, она не понимала – они жили не просто скромно, но бедно, пусть и опрятно бедно. Даже ежедневный стол у нее был скуднее, чем в родительском доме – однообразная, грубая пища, которую механически, не разбирая оттенков вкуса, поглощал супруг. Можно было предположить, что Василий Христофорович содержит любовницу, и не одну, или неудачно играет в карты, когда б не полная абсурдность такой идеи. Муж был образцом нравственности, но именно эта образцовость, некогда Веру Константиновну покорившая и утешившая после заблуждений и разочарований провинциальной молодости, теперь злила. Наверное, если бы у этого человека обнаружился какой-нибудь порок – вино или морфин, – ей стало бы легче, но к Василию Христофоровичу мелкая дрянь не приставала. Он жил по-крупному.

Несколько раз то мягко, то надрывно Вера Константиновна пыталась заводить разговор о дамских нуждах, но прямодушный, искренний и открытый человек спокойно и твердо уходил от ответа, и, хотя всякая тайна досадна женской душе, разгадать эту Вера Константиновна не могла. Она лишь подозревала, что тайна связана с первой женой Комиссарова, которая оста-

вила его много лет назад и о которой в доме не говорили никогда, и оттого Вере Константиновне становилось еще досаднее, как если бы ее обманывали и унижали. Нет, она хотела бы жить иначе. Ей нравились тонкость, обходительность, деликатность, изящество. Она любила полутона, намеки, сумерки, ее волновали стихи современных поэтов, она чувствовала в себе призвание стать чьим-то идеалом или близким другом, музой, а вместо этого оказалась в душной деревенской избе с мышами и тараканами и томила от однообразия, заранее представляя очередной день: муж, если не встал рано и не ушел с Легкобытовым в лес, будет задарма чинить мужицкие механизмы, падчерица пропадает на реке с легкобытовским пасынком, и еще неизвестно, как невоспитанный мальчишка на нее влияет и до чего они доиграются. Но, когда она попыталась обратить внимание Василия Христофоровича на неуместную дружбу, тот отмахнулся: глупости, пустяки, а Алеша очень способный юноша, из него, если будет учиться, отличный выйдет инженер.

– Интересно, кто даст ему деньги на учебу? Уж не твой же дружок? – брякнула она в сердцах.

– Зачем? Я дам, – ответил Комиссаров, и Вера Константиновна взвилась еще пуще, сама стыдясь своей стервозности:

– Чужим даешь, а свои что от тебя видят? Ты, может быть, хочешь его усыновить? Или в примки взять?

– Почему нет? – пожал плечами механик. – Тебе-то какое дело?

Вера Константиновна едва не задохнулась от такой наглости. Ей хотелось хотя бы раз заставить этого человека сорваться, вывести его из себя и узнать, каков он в гневе, но сделать это не удавалось. «Чертова порода! – думала она мрачно. – И девчонка тоже. Была б она мне родной дочерью, позволила бы я ей так себя вести! Отец ее распускает, и что из нее вырастет? Как же, дружат они! Ходят взявшись за ручку. Знаю я эти прогулки. Ей вообще с ее кожей на солнце меньше надо бывать. Рожа рыжая до неприличия. А мне от всего только лишние нервы!»

Вере Константиновне исполнилось к той поре тридцать лет, и с некоторых пор она начала ощущать возраст. Он давил на нее, предъявлял свои требования, о себе напоминал, и она до сих пор не знала, правильно или нет она живет. Умом она понимала, что причина ее томления – безделье. В первые годы замужества она пробовала с ним бороться – занималась музыкой, брала уроки живописи, даже пробовала играть в любительской труппе и написала одну критическую статью о символизме и две элегии в духе Блока. Ее игру хвалили поэты, пейзажи – актеры, а стихи – художники, однако никаких прямых талантов у нее не обнаружилось. Наградившая ее миловидностью и добрым здоровьем природа ничего к тому не прибавила, и со временем Вера Константиновна стала остро ощущать свою ненужность. Она все чаще ловила себя на мысли, что если завтра ее вдруг не станет, то ничего в этом доме не переменится и без нее здесь обойдутся. Долгое время их связь держалась на том, что Василий Христофорович желал ее как женщину чуть ли не ежедневно и даже будил среди ночи. Вера Константиновна была уверена в том, что он и женился на ней исключительно для удовлетворения необузданной половой потребности, и эта жадность одновременно оскорбляла ее и давала возможность мужем манипулировать, снисходя до близости по своему усмотрению, хотя в их вечно постном монастыре неожиданная уступка плоти была единственным праздником и оправданием жизни, тем моментом, когда Вера Константиновна чувствовала свою власть над мрачноватым, замкнутым и невероятно сладострастным человеком. Однако душа его оставалась для нее закрытой, а сама она не могла отделаться от мысли, что муж пользуется ею как вещью, и оттого чувствовала себя глубоко униженной.

Однажды весной, незадолго до полной луны, будучи в дурном настроении, Вера Константиновна заявила вошедшему к ней ночью Комиссарову, что он не человек, а неприличное животное, замесившее брак в похоти. Он стоял перед ней в распахнутом шелковом халате с



помутневшими от страсти глазами, красный, возбужденный, отвратительный в своей толщине и неумной мужской силе, и она знала: что бы она ни сказала, он все равно сейчас упадет на ее ложе, – и мстительно наслаждалась своей последней волей, но он молча, не запахнувшись, вышел из спальни и с тех пор в нее не заходил. Она была готова поклясться – она бы это точно почувствовала, – что никакой другой женщины у него нет и к дамам легкого поведения он не ездит. Выходило, не иначе как муж сумел обуздать свою плоть, и с той поры оскорбленной, неудовлетворенной ощутила себя она.

«А что если я просто подурнела или у меня появился запах изо рта? Седые волосы? Морщины? Или я от тоски много ем, растолстела и стала непривлекательной?» – пристально разглядывала Вера Константиновна свое обнаженное отражение в старом мутном зеркале, расчесывая черепаховым гребнем густые волосы, и, хотя никаких видимых изъянов не находила, в душе все равно поселилось чувство пугливости и неуверенности в себе. На нее напала бессонница, которую сменяли такие дурацкие сны, что совестно было их вспоминать, но особенно ужасным и неприличным был тот, что привиделся только что. Ей приснилась неизвестная деревня в лесу, ранняя весна, оголенные высокие деревья, черная земля, чьи-то похороны, рыдания, проклятия, мужчины, женщины, идущие вслед за гробом, и почему-то она среди этих людей – хмельная, с растрепанными грязными волосами, в простонародной васильковой ситцевой юбке. Ветер задирает подол, но она даже не пытается прикрыть оголенные ноги, а потом видит какую-то деревенскую постройку, заходит туда и натывается на лежащего в сене незнакомого человека. Ей очень холодно, она ложится рядом с ним, прижимается всем телом и согревается...

От стыда, сладости и ужаса того, что происходило дальше, Вера Константиновна заставила себя проснуться и стала испуганно оглядываться по сторонам, как если бы кто-то мог ее сон подсмотреть. Луна освещала комнату, тени от оконных рам ложились на кровать и отражались в неверном зеркале. За окном послышался шорох, похожий на мягкий взмах крыльев. Вера Константиновна вздрогнула, подошла к окну, но ничего особенного не увидела – только разросшийся куст сирени и гигантские шаги. Страшное чувство одиночества на нее напало. «Должно быть, скоро пойдут крови, – неприязненно подумала она, всегда тяжело переносившая последние дни перед месячным очищением, и на глазах у нее навернулись слезы жалости к самой себе. – За что мне такая судьба? Я хотела быть Прекрасной Дамой, а не смогла стать обыкновенной домохозяйкой. Моя жизнь не удалась. Ни семьи, ни любви, ни страсти, ни сладких воспоминаний, ни надежд на то, что они появятся, у меня нет. Я даже не легкобытовская Пелагея, без которой тотчас рухнет большое хозяйство и хваленый писатель обратится в ничто. Я – банкротка».

Сделав сей печальный, но честный вывод, Вера Константиновна с облегчением заплакала, однако не заснула, а так расчувствовалась и разжалобилась, что разгулялась окончательно. Муж спал или делал вид, что спит. Уж лучше было в Петербурге, где они ночевали в разных комнатах, а здесь, в деревне, ей казалось, отсутствие близости между ними всем заметно и над ней смеются и Легкобытов, и Пелагея, и все мужики и бабы, которые всё знают, чувствуют, понимают и обвиняют ее одну.

Начало светать, стали угадываться деревья и плетень, но дальше все терялось в предутренней мгле. Вера Константиновна прошла мимо двери комнаты, в которой жила Уля, и открыла ее. Девочка спала спокойная, тихая, и на мгновение женщину охватило давно забытое чувство вины. Она неслышно вошла в комнату и прикоснулась к рассыпавшимся по подушке волосам падчерицы. Те были влажными, как если бы Уля где-то гуляла под дождем или купалась. Вера Константиновна вздрогнула и посмотрела в окно. Оно было закрыто; похоже, с зимы его не открывали – засохшие мухи лежали между двойными рамами. «Вспотела. Бедная, что ей снится?»

В душе она знала, что виновата перед Улей, недостаточно сделала для того, чтоб приблизить девочку к себе, когда это было возможно. Она обещала Василию Христофоровичу, выходя за него замуж, что будет Уле вместо матери, она даже представляла, как они станут вместе играть, наряжать кукол, у них появятся свои маленькие секреты и хитрости, но такие обещания гораздо легче давать, чем выполнять, и все ее планы быть доброй мачехой рассеялись еще скорее, чем иллюзии стать счастливой женой. Нервная, часто плачущая по пустякам золотушная девчонка, ни разу не позволившая до себя дотронуться, с ее дурацким простонародным именем, которое Вера Константиновна не желала произносить, супругу механика лишь раздражала. С этой девочкой что-то было не так. Что именно, Вера Константиновна понять не могла, но, когда украдкой глядела на падчерицу, чувствовала в ней скрытый изъяс, и этот изъяс ее пугал и останавливал от того, чтобы повести себя так, как дерзкая девчонка заслужила. Одно время Вера Константиновна неудачно попыталась Улино доверие и любовь завоевать, давая ей задание распутывать клубки ниток и воспитывая таким образом в девочке терпение и выдержку, подобно тому как когда-то таким же образом воспитывали саму Веру Константиновну в ее старом дворянском доме на окраине Воткинска. Она думала, что сама Уля похожа на такой клубок, и если его терпеливо, методично освобождать от кривизны и нарочитой спутанности, то можно будет добиться, что она станет послушной. Ей даже казалось, что все так и происходит и девочка медленно, но становится ей покорна, подпадает под ее власть, однако как-то раз, зайдя к падчерице в комнату, увидела, что Уля читает книжку. Девочка была так увлечена, что не услышала чужих шагов, и у воспитательницы, готовой похвалить ребенка за усердие, слова застыли на языке, когда до ее ушей донесся лихорадочный, яростный детский шепот:

Год прошел, как сон пустой,  
Царь женился на другой...  
Но зато горда, ломлива,  
Своенравна и ревнива.

«Это я-то?» – подумала она с обидой.

– Ты меня любить не обязана, – сказала она Уле. – И я тебя тоже. Но раз уж мы с тобой любим одного человека, то не должны делать ему больно.

– Никого вы не любите, – ответила Уля, исподлобья на нее глядя.

– Почему ты так думаешь? – поинтересовалась Вера Константиновна, чуть покачиваясь и рассматривая Улю так, словно та была диковинным зверенышем, принесенным из леса и посаженным в клетку.

– Если б вы его любили, у вас дети были бы.

– Ну это уж точно не твое дело, маленькая нахалка, – нахмурилась Вера Константиновна и едва удержалась от того, чтобы не ударить падчерицу по губам.

– Вас сюда никто не звал.

– Ты, вероятно, думаешь, что взрослый мужчина может прожить вдвоем с дочерью? – Она посмотрела на корзину с нитками и заговорила спокойнее: – Ты уже не дитя, Юлия. Даже в куклы не играешь. Моя мать умерла, когда мне было тринадцать лет, и отец начал приводить в дом девушек чуть постарше меня. Ты бы этого хотела?

– Папа не такой.

– Такой или не такой, я знаю лучше тебя и пытаться изгонять меня тебе не советую, – блеснули глаза взрослой женщины.

– Если вы не будете лезть в мою жизнь, – отрезала маленькая.

Они заключили худой мир, но был он непрочен. Механику, более чуткому к машинам, чем к людям, казалось, что два близких ему человека женского рода прекрасно между собою

ладят и потому ошибались те, кто советовал ему после развода вторично не жениться, подождать и дать Улюшке вырасти. Люди всегда могут найти общий язык, благодушно думал Василий Христофорович, сидя за обеденным столом в окружении двух очаровательных, улыбающихся женщин, но никогда он не заглядывал под стол, где нет-нет да туфельки жены наступали на туфельки дочери, и с течением времени эти как бы случайные столкновения делались все более частыми и болезненными. Вера Константиновна была уверена, что и в эти дурацкие Горбунки они ездят назло ей, потому что никто не хочет в этом доме с нею считаться. А кроме того, год от года ее все больше раздражали манеры падчерицы. Взрослеющая, хорошеющая Уля представлялась ей вульгарной, еще более дикой, неистойвой, чем в детстве, – какое уж там терпение и какая кротость! – и хотелось одного: скорей бы эта девчонка куда-нибудь делась, улетела, ускакала, и чтоб больше ее не видеть.

Особенно остро она почувствовала это после того, как у Ули начались регулы. Падчерица ни слова ей о том не сказала, но ощутившая эту перемену Вера Константиновна, хоть и пожалела оставленную один на один со своей природой девочку, испытала по отношению к ней почти физическую неприязнь и брезгливость.

«Уж лучше бы она была мальчиком. Или я завидую ее молодости? Ее будущему? Ревную ее? – снова подумала она о себе безжалостно. – Прямо как в той сказке: свет мой, зеркальце, скажи... Я смерти ее хочу? Извести, отравить, сжить со свету? Нет, неправда. Я другого хочу».

А чего другого?

Она вышла на улицу и закурила папироску. Курила она по ночам тайком от Василия Христофоровича, прятала папироски и с ужасом думала, какой может выйти скандал, если он их случайно обнаружит или просто учует, что от нее пахнет табаком.

«Может быть, мне с ним развестись? В сущности, я имею на это полное право, особенно теперь... Он никчемный нелепый человек, толстяк, он убил во мне женщину, подавил все мои инстинкты, кроме одного, а потом отнял и этот. Он деспот, чудовище, злодей, а мне, прежде чем замуж выходить, надо было посоветоваться с его бывшей женой да хорошенько все разузнать. Какую-то сумму денег он мне выделит, а я устроюсь работать и буду жить независимо. Поступлю на женские курсы. И курить буду столько, сколько захочу. Это унижительно, в конце концов, таиться в мои годы», – думала она, с наслаждением затягиваясь и глядя, как вырывается клубочками горячий дым изо рта.

С ночи переменялся ветер, небо ненадолго очистилось от хмари, и в мире вдруг стало так тихо, так чисто, так прохладно, что женщина замерла и даже комары ей не мешали. Злые мысли ушли, и Вера Константиновна ощутила удивительное чувство покоя. На небе одна за другой таяли редкие бледные звезды. Вдали угадывалась река, где-то сонно брехала собака, утро уже разгоралось, и все сильнее поднимался из низины туман. Густая молочная смесь заволакивала пространство, в ней тонули и избы, и деревья, и дорога. Мелькнула чья-то фигура, Вера Константиновна торопливо спрятала папироску в рукав и увидела идущего посреди улицы пастуха.

– Здравствуй, Трофим, – сказала она приветливо.

– До ветру вышли, барыня? – громко поздоровался он, снимая картуз, картинно кланяясь и как-то странно подмигивая ей, и она чуть не задохнулась от этой наглости.

– Уезжать, сегодня же уезжать, – пробормотала она и не сразу заметила, как из тумана выплыла еще одна фигура и прояснилось хорошо знакомое надменное лицо соседа. Жена механика покраснела так, что сама эту краску на лице почувствовала. Очевидно, что Легкобытов слышал вопрос пастуха. Она поймала на себе его насмешливый взгляд и догадалась, что он хочет ей что-то сказать, но, униженная, не поздоровавшись, чуть ли не демонстративно повернулась к охотнику спиной и вошла в избу, где ничего не изменилось – так же похрапывал муж, зудели комары, и только волосы у Ули стали более сухими и светлыми, а дыхание ровным.

Вера Константиновна хотела зарыдать во весь голос и тем разбудить Комиссарова, рассказать ему, что случилось, и потребовать, чтобы они немедленно собрались и уехали в Петер-

бург, как вдруг давешний вопрос Трофима показался ей не грубым и оскорбительным, а смешным и все тяжкие раздумья о собственной доле и уж тем более о собственной наружности – никчемными и призрачными, она еще молода, привлекательна, здорова, и нет и не может быть у нее никаких седых волос и морщин, и дыхание ее чисто и свежо, и тело совершенно, и ждет ее прекрасная, счастливая жизнь, а Юля... Что Юля? Не век же она будет с ними, и нечего переживать за свою холодность и отчужденность – чем сдержаннее она будет, тем раньше девчонка от них уйдет.

От этой мысли ей стало теплее, тяжелее, сонная дрема навалилась и прижала тело к прохладной простыне. Вера Константиновна хорошо знала и любила этот момент проваливания в сон, когда в реальность начинают впутываться потусторонние образы и постепенно затмевать собою старый гулкий дом, тканые ковры на стенах, портрет неизвестного генерала – вот с таким блестящим, благородным мужчиной надо было бы ей познакомиться. Она еще балансировала на грани яви и сна и слышала, как грызет корку хлеба мышь под полом, как горланит петух, но из другого измерения уже сыпались на нее хмелем какие-то мягкие вещи, и вот она оказывалась на долгой дороге, ведущей вниз со склона холма, и там, на этой дороге, в беспорядке разбросанные лежали блестящие металлические предметы. Они приблизились, и Вера Константиновна увидела, что это части велосипеда: погнутое колесо с выломанными спицами, руль, педали. «Легкобытовский, – подумала она удовлетворенно, – а жаль, я всегда хотела на нем прокатиться... Я на свете всех милей», – засмеялась она, вздрогнула и поплыла наконец по течению своего мятежного сна, не слыша того, как проснулся сначала муж, а затем его дочь. Начался еще один невыносимо долгий и так быстро сгоравший летний день. Но Вера Константиновна была уже далеко, сон влек ее за собой, и чем душнее становилось в гулком доме, тем тревожнее, слаще и жарче сон делался, и она снова шла в синей юбке по незнакомой лесной деревне и чувствовала, как жаркий ветер обдувает, развеивает волосы и ласкает ее легкие ноги и чьи-то синие глаза жадно смотрят на нее из глубины леса и сами своего взгляда боятся.

## 5

Легкобытовскую тягу к ружью Уля остро чувствовала и была не по-девичьи, а по-женски раздражена тем, что охотник не на то время тратит, и даже хотела похитить у него оружие, чтоб неповадно было беззащитных птичек и зверушек ради собственного удовольствия убивать, да еще заставлять ее Алешеньку по-собачьи себе прислуживать, доставать из ледяной воды подстреленных гусей и уток, таскать тяжелые заплечные мешки, разводить костры из сырых дров, спать на одном боку в тесных охотничьих избушках, лишь бы отчиму было попросторней, и отыскивать в лесу забытые или впопыхах брошенные растяпой вещи. В Уле с детства живо было чувство неведомой, обостренной справедливости, жажда мщения и такого правдолюбия, что она была готова и себя, и любого человека изничтожить, лишь бы правды добиться. Рано поняв, что у правды и справедливости врагов множество, она для того и носилась ветреными ночами по земле, чтобы в тот час, когда зло вылезает из укрытий, всех недругов распознавать. А наутро ничего ночного умом не помнила, но сердцем не забывала, бывала дерзка, прямо сверх меры, непочтительна и безрассудна не только с мачехой, но и с иными взрослыми людьми, на что указывали ее отцу в гимназии и угрожали снизить ученице Комиссаровой оценку за поведение. Василий Христофорович относился к этим угрозам снисходительно и говорил в ответ, что у его дочери доброе и честное сердце, а все остальное ему неважно, крайности ее характера объясняя неопытностью и жадностью к жизни.

– Это я и сама знаю, – заметила в педагогической беседе с ним Улина гимназическая начальница Любовь Петровна Миллер – женщина умная и справедливая, которую даже Уля уважала и ей не перечила. – Я вашу девочку очень люблю, но помните: к беде неопытность ведет.

– От опыта беды еще больше, – возразил механик, однако с Улей поговорил, посоветовав ей не лезть попусту на рожон, а больше прислушиваться и присматриваться к тому, что в мире делается. Но Ульяна сызмальства привыкла жить своим умом и торопилась скорее во взрослую жизнь попасть, в ней самой разобраться, а то, что ее не устраивает, переменить. Не устраивал же ее в это душное лето Павел, Матвеев сын, который, чем больше она о нем размышляла и к нему присматривалась, все вернее представлялся ей олицетворением коварства и зла, возмущавшего ее юную душу. Стремительный, хищный, расчетливый, легконогий странник с ясными глазами вместо сердца, не человек, а зверь, лесной Кощей, от цепей которого надо было срочно мальчика Алешу спасать, из плена вызволять. Но для того, чтобы со злодеем побороться, требовалось его изучить, все повадки исследовать и выбить у него страшное жало.

Однако сколько глупая девочка лесного царя ни выслеживала, он никогда ружья из рук не выпускал, сам его чистил, не доверяя ни Алеше, ни Пелагее, и в те недолгие часы, когда с собой не носил, запирали в шкафу, а ключ от шкафа хранил в потайном кармане охотничьей куртки на особой застежке, которую один знал, как расстегнуть и ключом воспользоваться. В отместку раздосадованная Уля дразнила Легкобытова в лесу, водила за собой, но близко не подпускала и увидеть себя никогда не позволяла. Подходила с подветренной стороны и звала, но так негромко, что Павел Матвеевич не мог понять, чудится ли ему или нет странный зов то ли зверя, то ли птицы, то ли заблудившегося в лесу ребенка. Он смотрел на Карая, но умный пес, обмануть которого девичьими проделками было невозможно, оставался спокоен, и привыкший доверять собакам больше, чем людям, Легкобытов легко шагнул дальше по лесной дороге, подмечая те изменения, что каждый день в лесу случались: покрасневшие ягоды, пробивавшиеся из-под травы грибы, упавшие листья и следы от пробежавшей ночью по белому мху остролицей лисицы. Это был его возлюбленный мир, та простодушная, милая природа, с которой он был обручен, чувствовал себя ее единственным женихом, ничего в ней не боялся, смело смотрел в глаза любому хищнику, знал поименно зверей на своих угодьях, знал, как

называются все деревья, кустарники и травы, прозревал подземный рост корней и движение древесных соков и если б мог попросить о чем Небеса, то помолился бы о том, чтоб никогда не кончалась чередой дня и ночи, тепла и холода, сухости и влаги, ветра и безветрия, ясности и хмари и чтобы в этом распорядке действий ему было отведено вечное бессонное место смотрящего и хранителя, а никакого Царствия Небесного ему не надобно. Пусть оно другим достается или силой ими берется, пусть те, кто хотят, расселяются по звездам и завоевывают Вселенную, о которой грезил механик Василий Христофорович Комиссаров, – Легкобытов же мечтал унаследовать землю, хоть и помнил по урокам Закона Божия, что она достанется кротким, а он какими угодно обладал добродетелями, только не этой. И тем не менее на долгую земную жизнь взамен небесной надеялся, приходя в неистовство, если что-то складывалось не по его хотению. И потому вмешательство в этот мир чужого существа, мучившегося оттого, что в природе справедливости еще меньше, чем у людей, сострадавшего всем пичужкам, на которых охотились большие хищные птицы и жадные злобные люди, и мечтавшего установить в этом мире свои милосердные законы, Павел Матвеевич воспринимал как посягательство и угрозу.

Легкобытов сентиментальности терпеть не мог. Природа, по его разумению, была выше жалости и сострадания, она не ведала ни добра, ни зла, а точнее, все в ней было добром, только не каждому это добро было дано понять. Оттого даже комаров, мух, мошек, оводов, ос, шмелей, муравьев, а также змей, жаб, пиявок Павел Матвеевич обожал как стражников природы, охраняющих ее от дачников – людей породы новой, но быстро размножающейся и сразу сделавшейся ему ненавистной, однако Улю Комиссарову никакие летающие твари остановить не могли, и со временем ее постоянное присутствие в лесу стало не просто охотнику докучать, но напрямую ему мешало: чаще обычного он промахивался даже из легкого «зауэра», опаздывал, раздражался и чувствовал, что кто-то в лесу оповещает зверей о появлении человека с ружьем. Как искусно ни маскировался Павел Матвеевич, сколь долго терпеливо, без единой папироски ни высиживал в засадах, все его трофеи успевали разбежаться или разлететься до того, как он пробирался в самую сердцевину глухих болот или лесных чащоб. Ему и в голову не пришло бы соотнести свои охотничьи неудачи со взбалмошной девчонкой, он искал врага посерьезней, но меры предосторожности на всякий случай предпринимал, так что напрасно Уля неслышно за охотником следовала в догадке, что не просто так идет этот человек своей тропой, а стремится в то место, где выпускает из рук ружье, вешает его на ветку и меняет обличье. Попасть туда ей не удавалось. Стоило только зайти в лес поглубже и пересечь неведомую границу, как Легкобытов исчезал, и Уля была готова поклясться, что он сам превращается в неведомое существо, в птицу, в лешего или в дерево, которого вчера на этом месте не было, а сегодня глядь – появилось, большое, кряжистое, с сильными, раскидистыми ветвями. Или, наоборот, в высокую и гладкую корабельную сосну из северной чащи либо в редкую траву, которая под этой сосной произрастает.

Она терялась без него в лесу, боялась заблудиться, и ее тянуло крикнуть, позвать его, но обнаружить себя было еще страшнее, и Уля просто сидела тихонечко, но не плакала, а ждала, когда появится отец, возьмет ее за руку и отведет домой. При появлении механика заколдованный мир становился обыденным и нестрашным, и оказывалось, что ни в каком она не в лесу, а за деревенской околицей и то, что представлялось ей непроходимой чащей, было прозрачной рощицей, сквозь которую виднелись темные крыши изб, и слышно было, как брешут деревенские собаки и кудахчут куры. Уля возвращалась домой, рассеянно отвечая на отцовские вопросы, и бывала более обыкновенного замкнута, так что даже Алеша не понимал, отчего она с ним холодна и за что сердится.

...Легкобытов же Павел Матвеевич ни в какого зверя, ни в птицу, ни в дерево не превращался. Пройдя сквозь два болота и три чащи, спустившись в глубокий овраг и перейдя вброд через реку, он взлетал на высокий косогор, откуда видна была вся окрестная земля вплоть до синевшего вдаль озера с парусами рыбарей и куполами далеких храмов. Там он садился у



большого лесного пня, доставал из-за пояса тетрадку и сочинял роман о провинциальном, как будто бы робком, но очень зорком загорелом юноше, случайно попадающем из лесной глуши в холодную столицу. Легкобытова кусали мухи, и пили кровь комары, бабочки садились ему на плечи, птицы подбирали крошки хлеба у его ног, ткали паутину на голове пауки, и пробивался сквозь запыленные ноги мох, но ничто не могло отвлечь шеломского йога от додумывания другой судьбы, которая лишь в эти минуты и в этом состоянии ему открывалась.

Ему исполнилось к той поре сорок лет, и после тяжелой, гнетущей и бедной молодости, когда всем, кто его окружал, да и ему самому, казалось, что ничего из него не получится, он закончит свой путь мелким чиновником, приказчиком или сопьется, как его отец, ему удалось на удивление многого достичь. Мать его умерла несколькими годами ранее, до начала его литературной известности не дожив. Павел Матвеевич на похороны не попал, телеграмма опоздала, и это было последнее, что мать сумела для сына из-за гроба сделать, зная, что напуганный в раннем детстве смертью отца – Павлуша первым из домашних увидел его застывшим в черном кожаном кресле – ее первенец похорон избегал и о смерти, ни своей, ни чужой, старался не думать. Человеку принадлежит жизнь, и он принадлежит жизни, а что касается того, что будет потом... Как охотник, убивший несметное количество самой разной твари, видевший не одну агонию и не отводивший глаз от своей добычи, будь то маленький дупель или лось с тяжелыми рогами, Легкобытов в индивидуальное бессмертие не верил, поскольку знал, что каждое тело служит пищей другому телу. Вот основной закон бытия, а все остальное придумано с целью дурачить простаков. И большой разницы между людьми и животными он не наблюдал, если не считать того, что первые были вооружены, а вторые безоружны, и оттого поклонялся одной безличной и вечной силе, организовавшей жизнь по своим законам так совершенно, как не организовал бы ее никакой Создатель. А если и природу Господь сотворил, то во всяком случае после акта творения надолго почил и в земные дела более не вмешивался. Или умер, как заметил тот несчастный остроумец, которого себе на беду загубили горбунковские мужики.

С отроческих лет Павлуша не ходил в церковь – сначала это было вроде подросткового бунта, и в одном ряду у него стояли инспектор гимназии, околоточный и поп. Ему было семь лет, когда мать впервые привезла его в город и он попал на службу во Введенскую церковь. Сначала покорно стоял, а потом заскучал, принялся слоняться по храму, и никто не заметил, как, нарушив ход богослужения, деревенский мальчик забежал в алтарь прямо сквозь Царские врата.

– Он у вас еще архиереем будет, – не стал ругать перепуганную, неловко оправдывавшуюся женщину священник. – Кто Царскими вратами пройдет, сана сподобится.

Священник тот вскоре умер, оставив молодую печальную вдову с трехлетней дочкой, а Легкобытов сподобился иных чинов. В Петербурге он ездил к сладострастной охтинской богородице Дусе Мирновой, разговаривал с ее мужем Давидом и сыном Соломоном, узрев в сей троице гораздо больше живого огня, чем в казенном вероисповедании. «Кто смотрит на меня как на женщину, получит женское, а кто ищет божественного, тот получит откровение», – восхищался Дусиными словами Павел Матвеевич и, если б не врожденная осторожность, верно, попробовал бы и того и другого, но жене ни разу не изменил, а божественных откровений избегал, придерживаясь своих отношений с церковью. Когда религиозная Пелагея Ивановна пыталась уговорить мужа ходить в храм хотя бы по большим праздникам, чтоб не сердить простой народ и не вызывать подозрение у отца Эроса, каждый месяц докладывавшего в консисторию о сектантах и не без оснований предполагавшего, что петербургский барин к самой вредной и тайной из сект принадлежит, охотник отвечал, что пойдет лишь в такую церковь, в которую пускают с собаками, ибо собаки безгрешны и ближе к Богу, чем человеки, а самая божественная литургия, на которой ему доводилось присутствовать, случилась в утреннем весеннем лесу после их первой с Пелагеей ночи, когда тысячи птиц на разные голоса славили живого Бога, а они двое, как Адам и Ева, лежали нагие на сухом мягком мху и смотрели в небо. Пелагея, уж

на что была к мужниным речам привычная, испуганно втягивала голову в плечи, ожидая, как бы не ударила небесная молния от Ильи Пророка, а потом долго отбивала поклоны и шепотом разговаривала с иконами, умоляя всех святых не гневаться и простить за ее молитвы умствующего дурака.

Она давно смирилась, приспособилась и верно служила мужу, и он ею, сам того не замечая, пользовался. Терпеть не мог неприятных дел и все, что было ему не по душе, но надо было сделать, сваливал на Пелагею. Это она договаривалась с местными крестьянами, если охотничья собака вдруг съедала чью-то курицу или легкобытовский жеребец потоптал крестьянскую кобылу. Она одной ей ведомыми травами вылечила пса, которого он при всем своем собаколюбии попытался отучить от шkodства, выстрелив собаке солью в бок; она не для детей своих, а для него одного снимала сливки с молока; она каялась всякий раз на исповеди, что живет невенчанная и дети ее считаются незаконными, записаны на фамилию прежнего мужа; она шла за Павлом Матвеевичем по следу, исправляя все его ошибки, приучив себя к его капризам, взбалмошному, взрывному характеру, к его рассеянности и невероятной, вдохновенной, взаимной любви к самому себе, к тому, что своих собак он знает и ласкает чаще, чем собственных детей, чего уж говорить о ней самой или ее Алешеньке. Но за всем этим, как за весенней пеной, Пелагея угадывала беззащитность, детскость и невероятную тайную глубину и зоркость его натуры, перед которой робела, обмирала и благоговела, внутренне к ней подбиралась и опутывала Павла Матвеевича невидимыми тонкими волосами, его берегла и хранила, как не сумела бы это сделать ни одна женщина на свете.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.